



Анатолий Алексин

Коля пишет Оле,
Оля пишет Коле

ФТМ

Х.И.В.

Анатолий Алексин

Коля пишет Оле, Оля пишет Коле

«ФТМ»

1965

Алексин А. Г.

Коля пишет Оле, Оля пишет Коле / А. Г. Алексин — «ФТМ»,
1965

Юные герои Анатолия Алексина впервые сталкиваются со «взрослыми», нередко драматическими проблемами. Как сделать правильный выбор? Как научиться понимать людей и самого себя? Как войти в мир зрелым, сильным и достойным человеком?

© Алексин А. Г., 1965

© ФТМ, 1965

Содержание

Оля и Коля	5
О чем бы он мог рассказать...	8
Дупло старого дуба	11
Клетка без птицы	15
Холмик во дворе	18
Письма	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Анатолий Алексин

Коля пишет Оле, Оля пишет Коле

Оля и Коля

Шоссе длинным серым клинком рассекало лес, казавшийся непроходимым. Но, подъезжая к тому месту, где клинок шоссе перекрещивался с другим клинком, тоже рассекавшим лес, но более отточенным, сверкающим и широким – с уральской рекой, – шоферы и их спутники удивленно вздрагивали: непроходимые лесные заросли трубили горнами, пели и даже дискутировали на тему: «Может ли мальчик дружить с девочкой?» И только уже у самого моста стрелка, нацеленная на лес, все объясняла: «Пионерский лагерь „Сосновый бор“» было написано на ней выцветшими от солнца и дождя буквами.

Дискуссии устраивал главный редактор лагерной радиостанции «Голос в лесу» Лева Звонцов. В школе Лева тоже отвечал за радиопередачи, а заодно уж и за дружинную стенгазету... Почти все ребята давно знали друг друга: раньше они жили на Севере, где родители их построили алюминиевый завод, а потом родители переехали на Урал, чтобы строить другой алюминиевый завод, и ребята переехали тоже. Они учились в одной школе, отдыхали в одном пионерском лагере «Сосновый бор» и все знали, что лучше Левы Звонцова никто не умеет заводить разные споры и дискуссии.

У соцгородка, который строили их родители, было странное и не очень благозвучное имя: «БАЗ», что означало: «Большой алюминиевый завод». Взрослые люди были очень заняты, и у них, видно, не хватало времени придумать городу другое название. А у ребят свободного времени было побольше, особенно летом, в лагере, и Лева Звонцов по радио объявил конкурс:

Пионер! Поработай мозгами своими
И придумай для города новое имя!

В лесу, на свежем воздухе, заработали мозгами сразу двести тридцать ребят. И вот по вечерам, хрипло вторгаясь в бесконечную птичью болтовню и приливами набегающий сосновый шум, Лева Звонцов стал устраивать такие радиобеседы:

- Расскажи-ка радиослушателям, какое имя ты хочешь дать нашему городу!
- Город, который мы сами построим...

Репродуктор, черным гнездом примостившийся меж сосновых ветвей, вдруг мелко-мелко задрезжал – это Лева расхохотался в самый микрофон:

- Где ты слышал такие длинные названия?
- Не слышал. И очень хорошо: пусть будет ни на что не похоже!
- Вот именно: ни на что не похоже! Следующий! – выкрикнул Лева так, словно он был врачом и за дверью у него томилась очередь пациентов.
- Бр-ратск! – нажимая на букву «р», четко выговорил очередной участник конкурса.
- Это название уже без тебя придумали.
- Ну и что же? Тот город на Ангаре, а этот у нас.
- Ну как ты не соображаешь?.. Может возникнуть путаница: вот, например, с письмами...
- Тогда – Новый Бр-ратск!
- И тот, на Ангаре, тоже не старый.
- Тогда я подумаю...

Левин голос расположился в эфире, как у себя дома: он оценивал, поучал, делал замечания.

– Следующий! – выкрикнул Лева.

– Что ты кричишь, как в лесу? – ответил ему чуть-чуть удивленный, певучий голос, в котором не было раздраженности или ехидства, а было именно добродушное удивление лихой Левиной бесперемонностью.

Все сразу узнали Олю Воронец.

– Мы и есть в лесу! – тут же нашелся Лева. Но, смущенно пошуршав чем-то в микрофон, добавил: – Извини. Здесь такая очередь, всем не терпится получить премию... У тебя есть предложение?

– Я предлагаю назвать так: город Крылатый!

– Немного странно... звучит, – робко, почти шепотом возразил Лева.

– Почему странно? Есть же в Казахстане город Рудный. А у нас будет город Крылатый. И это будет справедливо: алюминий-то крылатый металл – из него самолеты делают.

– Ах, так? – встрепенулся Лева. – Это очень образно! И я бы сказал – поэтично!..

– Просто точно, по-моему, будет. И справедливо.

«Справедливо» – это было любимое Олино слово. Правда, частенько она прибавляла к нему коротенькое отрицание «не». «Это несправедливо!» – спокойно заявляла Оля своим глубоким, певучим голосом. И тут же вступала в борьбу за справедливость.

Девочки были влюблены в Олю Воронец. Прошлым летом Оля носила косы, и в волосах у ее подруг тоже мелькали разноцветные ленточки. Этой весной, перед лагерем, она постриглась, и подруги ее мигом, без сожаления распрощались со своими косами. Оля чуть-чуть заикалась, и девочки, сами того не замечая, тоже начали слегка растягивать гласные буквы и изящно, еле заметно, как это делала Оля, спотыкаться, словно приседать, на некоторых словах.

Оля редко сердилась. Главным образом тогда, когда встречалась ей на пути какая-нибудь нечестность, неправда, и девочки тоже старались быть отчаянно принципиальными.

И еще Оля сердилась, даже приходила в неожиданную ярость, когда ее называли красивой. В прошлом году начальник лагеря водил по «Сосновому бору» какую-то делегацию и все время восклицал: «А вот это наша волейбольная площадка! А вот это наша читальня! А вот это наш радиоузел!..»

– А вот это наша красавица! – гордо объявил он, увидев издали Олю Воронец.

Делегация защелкала фотоаппаратами, но на пленку попал, должно быть, лишь Олин затылок: в ответ на слова начальника девочка неучтиво повернулась спиной к гостям и быстро скрылась за деревьями.

В начале августа у лагеря испортилось настроение: стало известно, что в первый день сентября Оля не придет в школу вместе со всеми своими подружками, что, вернувшись из лагеря, она уедет очень-очень далеко. Ее отец был геологом. Он отыскал на Урале горную породу, которая была необходимым сырьем для алюминиевого завода, а теперь уезжал искать еще что-то на Север, за Полярный круг.

И только один человек в лагере был рад предстоящему Олиному отъезду – это был Коля Незлобин, по прозвищу Колька Свистун. Он любил переговариваться с птицами, к ребятам обращался коротко и грубовато: «Эй, ты!.. Слушай-ка!» – а с птицами беседовал ласково и безошибочно узнавал их голоса.

Но не за это прозвали его Свистуном. А за то, что как-то однажды, в прошлом году, он неожиданно для всех пообещал написать хорошие стихи к родительскому дню, а написал плохие, и родителей пришлось приветствовать в прозе. Правда, стихов этих не видел никто, кроме Оли Воронец. Она должна была читать их в начале концерта самодеятельности, но в последний момент читать отказалась, заявив, что стихи никуда не годятся.

Это Оля первая сказала Кольке: «Эх ты, Свистун!..» А он в ответ прозвал ее Вороной: это, кажется, была единственная птица, которую он не любил.

Никто, кроме Кольки, Олю Вороной не называл, а к нему прозвище Свистун приклеилось так прочно, словно было с рождения вписано в метрику.

Из всех споров, которые время от времени затевал по радио и в стенгазете Лева Звонцов, он больше всего любил дискуссию на тему: «Может ли мальчик дружить с девочкой?» И хотя всем было уже давно ясно, что мальчик дружить с девочкой может, Лева затевал это обсуждение минимум два раза в году – зимой и летом. В этом году любимая Левина дискуссия сразу стала затухать: спора не получалось. Тогда Лева выпустил к микрофону Кольку Свистуна, и тот громко, уверенно заявил, что девчонки – предательницы.

Все поняли, кого он имеет в виду, и дружно бросились Оле на помощь. «Ишь ты, молчаливый-молчаливый, а разговорился!.. Выказался!» – верещали по радио девочки. Лева Звонцов только успевал радостно включать и выключать микрофон: дискуссия разгорелась с невиданной силой.

А Колька ничего не отвечал. Он снова мрачно помалкивал... Все считали, что вообще он любит переговариваться с птицами потому, что ему нечего рассказать о себе, нечего сказать людям. Но на самом деле ему было бы что рассказать, если б только он захотел...

О чем бы он мог рассказать...

Отец проектировал алюминиевые заводы, но, когда поднимались их корпуса, нигде – ни на кирпиче, ни на крыше, ни на трубе – не было написано, что тут есть частица и его, отцовского, труда. К тому же Колькиных приятелей по двору вообще не пускали на территорию завода, и они не могли удостовериться в том, что отец занят большим и важным делом. А то, что без Колькиной мамы дворовая волейбольная команда не может сражаться со своими противниками, знали все.

Колькину маму никто по имени-отчеству не величал, все, даже ребята, называли ее просто Лелей. . . «Вот придет наша Леля с работы, мы вам покажем!» – кричали они волейболистам соседнего двора. И Колька ходил гордый, будто это он сам умел гасить так, что все игроки по ту сторону сетки боязливо приседали на корточки; будто он сам умел принимать труднейшие мячи, а подавал так, что мяч стремительным черным ядром пролетал в нескольких миллиметрах над сеткой, чудом умудряясь не задеть ее.

Мама выбегала во двор в узких спортивных брюках и в тенниске. Болельщики встречали ее нетерпеливым гулом радости, но она прежде всего разыскивала Кольку и усаживала его в самый первый ряд зрителей: на садовую скамейку, на забор или прямо на траву. . . И тут уж Колька сидел скромно, строго, не выражая своего торжества, а только изредка обменивался взглядами с мамой, которая, казалось, молча спрашивала его: «Ну, как? Ты доволен мною?»

Это было давно, в далеком северном городе, откуда Колька уже уехал, но он помнил все очень ясно и знал, что не забудет этого никогда. . .

Отец был намного старше мамы. Он не умел играть в волейбол, плавать диковинным стилем баттерфляй и бегать на лыжах так хорошо, как умела мама. И мама почему-то не заставляла его учиться всему этому. Но зато она научила его тоже ходить в спортивной майке с распахнутым воротом, долго гулять перед сном и делать по утрам гимнастику (она вытаскивала на середину комнаты сразу три коврика – для себя, для отца и, совсем маленький, для Кольки.

А еще она научила отца судить волейбольные матчи. И когда отец со свистком во рту усаживался сбоку возле сетки, он тоже казался Кольке, а может быть, и всем остальным, совсем молодым человеком. И его в те минуты тоже хотелось называть просто по имени. . . Хотя никто его все же так не называл.

Зато вслед за мамой все уважительно именовали его: «О, справедливейший из справедливых!» И папин свисток был для спортсменов законом. Возвращаясь домой после волейбольного сражения или вечерней прогулки, отец часто говорил маме: «Мне снова легко дышится. . . Снова легко!» И это было очень важно для отца, потому что у него была бронхиальная астма.

Ну, а дома судьей была мама. Она никогда не давала громкого свистка, никогда не напоминала вслух о правилах жизни, но отец и Колька всегда весело и добровольно подчинялись ее решениям, потому что эти решения были справедливы. Мама тоже часто повторяла: «Это справедливо!» Или: «Это несправедливо!» И Колька сейчас злился на Олю Воронец еще и за то, что она, как ему казалось, присвоила любимое мамино слово.

Мама работала воспитательницей в детском саду. И маленький Колька был у нее в группе. Иногда он обижался, что к остальным пятнадцати малышам мама была так же внимательна, как и к нему. А может быть, даже еще внимательнее. Когда однажды он разревелся по этой причине, мама высоко подняла его и, серьезно глядя ему в глаза, сказала: «У меня нет никого роднее тебя. И не будет. Запомни это». Колька успокоился. И запомнил.

В детском саду он не раз слышал, как мамы упрасивали директора: «Переведите ребят в группу к Леле. Она такая добрая, умная и хорошенькая. . .» То что маму называли доброй и умной, было очень приятно. А слово «хорошенькая» не нравилось Кольке. «Она не хоро-

шенькая, а хорошая!» – про себя возражал он, не понимая, что слово это относилось не к маме, а только к ее лицу – юному, озорному и действительно очень хорошенькому.

Однажды летом отца стали душить частые приступы астмы: климат далекого северного города стал опасным союзником папиной болезни.

«Я увезу тебя к самым лучшим врачам: к реке, к свежему воздуху... И они вылечат тебя!» – сказала мама. – Мы заберемся в глушь и будем жить там, как робинзоны!»

Втроем они ехали поездом, потом на грузовике, потом шли немножко пешком – и забрались туда, где воздух был сухим, а природа именно такой, какую долгие годы прописывали отцу доктора, приговаривая: «Но все это, конечно, недостижимый идеал. Поэтому обратимся-ка лучше к таблеткам и каплям!»

Доктора, к сожалению, не были знакомы с мамой и не знали, что она умела делать «достижимым» все, что нужно было отцу и Кольке.

Раньше дома, по вечерам, мамино возвращение с работы мигом преображало все: утился голод, комната становилась уютной и чистой... И если мама задерживалась, Колька и отец чувствовали себя какими-то удивительно неустроенными, словно сидели на вокзале в ожидании поезда, который опаздывал и неизвестно когда должен был прийти.

То было дома, в городской квартире... А тут, на берегу реки, мама вдруг проявила такие способности, каких даже Колька с отцом от нее не ожидали. Отец по утрам планировал предстоящий день отдыха, а мама смеялась: «Эх ты, мой проектировщик! Теоретик мой неисправимый!...» И разжигала печку в домике лесника или даже костер прямо в лесу и варила суп, картошку, кипятила молоко. Отец загорел, посвежел, забыл про свои лекарства. «Теперь мы с вами три богатыря!» – говорила мама. А сама вдруг однажды вечером легла на бок, побледнела и, увидев испуганное Колькино лицо, заулыбалась как-то неестественно, трудно, через силу. Колька внезапно почувствовал, что выражение «земля уходит из-под ног», которое он иногда слышал от взрослых, – это не выдумка, не фантазия, не преувеличение: ноги его подкашивались от волнения и он не ощущал под собой твердого дощатого пола, на котором стоял еще минуту назад.

Пожилой лесник, отец и Колька на брезентовой плащ-палатке несли маму в деревню, что была в пяти километрах: к домику лесника нельзя было подъехать даже на телеге. Мама все время держала Кольку за руку (не отца, не лесника, а только его, – Колька навсегда запомнил это!). Она то и дело, быть может почти бессознательно, повторяла: «Ничего... Не волнуйтесь, пожалуйста. Не волнуйтесь...» И только изредка спрашивала: «Еще долго? Еще долго?...» А они, все трое, молчали.

И Колька думал о том, что отец, когда ему было плохо, становился по-детски растерянным и, казалось, хотел переложить на окружающих свои страдания или хотя бы поделиться с ними своей болью, а мама все время пыталась снять с их плеч тяжесть, и страх, и волнение. «Не волнуйтесь, пожалуйста. Не волнуйтесь...»

В лесу быстро темнело. Идти было трудно. И все то, что еще утром, еще днем казалось таким прекрасным, таким заманчивым – непроходимые заросли, глухое переплетение ветвей, – все это сейчас было враждебно и ненавистно Кольке. «Еще долго? Еще далеко?...» – спрашивала мама.

Из деревни они позвонили в райцентр, что был за двадцать пять километров, в больницу. «Скорая помощь» добиралась из райцентра целую вечность, хотя по часам выходило, что ехала она всего около часа.

Молодой человек в белом халате, очень строгий и неразговорчивый, даже не поздоровавшись, стал сразу осматривать маму. А потом коротко сообщил: «Аппендицит». Садясь в белую машину с красным крестом впереди, на круглом фонаре, он произнес еще два слова: «Надо успеть». Отец тоже сел в машину. И она умчалась. А Колька даже не догадался сказать, чтобы и его тоже взяли с собой, что он тоже хочет вместе с мамой...

Он стоял возле сельсовета, рядом с пожилым лесником, все время мысленно повторял последние мамины слова, тоже обращенные не к отцу, не к врачу в белом халате и не к пожилому леснику в резиновых сапогах, а только к нему, к Кольке, к нему одному на всем белом свете:

– Все будет хорошо. Аппендицит – это ерунда. От этого не умирают...

* * *

Мама умерла. Это было давно, в тот год, когда Колька еще только собирался на свой самый первый школьный урок. А теперь он уже был в шестом классе...

Прошли годы. Но и сейчас каждый день Колька вспоминал строгого молодого человека в белом халате и короткую фразу: «Надо успеть». Почему же они не успели?..

Странная, непонятная людям привычка появилась у Кольки – почти у каждого нового знакомого он спрашивал: «У вас был аппендицит?» – «Был, – отвечали некоторые. – Вырезали. Чепуховая операция!»

И снова одна и та же неотвязная мысль рвала его сердце: «А если бы больница оказалась ближе? А если бы дорога в лесу была проходимее? Может быть, мама и сейчас была бы тут, рядом... И он слышал бы ее голос: „У меня нет никого роднее тебя. И не будет“».

То далекое лето, поначалу такое солнечное и беспечное, неотступно стояло перед его глазами и никак не хотело становиться воспоминанием...

Дупло старого дуба

Начальник лагеря очень любил принимать делегации. Тогда в любую жару он появлялся среди душного леса в темном костюме и при галстуке. Как экскурсовод, ходил он с вытянутым вперед указательным пальцем, объясняя, что беседка называется беседкой, а библиотека – библиотекой; похлопывал по плечу всех встречных ребят, хотя в остальные дни еле с ними здоровался, и тоном во все вникающего отца родного невпопад задавал вопросы: «Ну, как прошла линейка? Что было на совете лагеря?»

«Линейка» и «совет лагеря» – это были те немногие пионерские термины, которые он знал наизусть. Почти никто из ребят не помнил его имени-отчества, а все так прямо и называли – начальником. Он, казалось, был твердо убежден, что пионерлагерь для того главным образом и существует, чтобы его можно было показывать комиссиям из завкома и стройкома да разным любопытным туристам.

Оля не любила начальника лагеря. И однажды, когда руководство из стройкома оглядело все лагерные объекты, когда начальник лагеря утомленно произнес свою любимую фразу: «Вот так мы и живем!», а руководство благодарно ответило ему: «Хорошо живете!», Оля неожиданно для всех вмешалась в разговор:

– И все это сделал наш Феликс!

– Кто-кто? – подчеркивая свое особое внимание к «голосу детей», заинтересовалось руководство. – Пионер? Как его фамилия?

– Нет, это наш старший вожатый... Феликс! Мы его по фамилии не называем.

Начальник лагеря побледнел, а руководство что-то поспешно записало в блокнот, на обложке которого, как успели разглядеть все замечающие ребята, было золотом выгравировано: «Делегату профсоюзной конференции».

Феликс тоже не любил начальника и работал в пионерлагере только потому, что не хотел на целое лето расставаться с ребятами, которых знал уже три с лишним года: в школе у них он был старшим пионервожатым.

Еще мальчишкой в Крыму Феликс наткнулся на мину, и ему оторвало правую руку.

«Эхо войны!» – говорил он, поглаживая свой пустой рукав, заправленный за пояс.

Ребята слагали легенды о его левой руке: он мог с ее помощью вскарабкаться на вершину любой, даже самой высокой сосны; сколько угодно раз переплыть широчайшую реку; превратить в подкову кусок самого твердого металла, и еще многое, многое другое...

Кольке Свистуну казалось, что характер Феликса был чем-то неуловимо похож на характер мамы: старший вожатый не любил переключивать на плечи окружающих свои заботы и никому не жаловался на то, как это трудно целые дни проводить в школе, да еще учиться заочно на третьем курсе пединститута, да еще быть начальником городского штаба дружинников. Впрочем, Колька находил мамины черты у всех хороших людей, которые встречались ему на пути.

Да, много разных дел было у Феликса, но ребята больше всего гордились тем, что их вожатый стал главным дружинником в городе. Они рассказывали, что Феликс отважно и хладнокровно «одной левой», как говорили они, распутывал самые жуткие и загадочные преступления, которых, конечно, не смог бы разоблачить ни один Шерлок Холмс в мире.

По вечерам, когда таинственно, как заговорщики, переговаривались сосны, а заросли, окружавшие лагерь, были полны тихих, приглушенных шорохов, девочки, поеживаясь, просили Феликса поведать о том, как он справлялся с бандитами и другими особо опасными преступниками.

«Извините... Я, конечно, очень виноват перед вами, но у нас в городе нет бандитов, – тоже таинственным полупшепотом, в тон девочкам, ответил однажды вожатый. – И „особо опас-

ных“ нету. Не потому, что наш городок еще маленький, а потому, что новый. И все в нем должно быть по-новому. И будет, вот увидите!»

«Вот уви-идите!» – часто повторял Феликс, многозначительно растягивая слово «увидите», будто заглядывал при этом куда-то далеко-далеко с высоты своего длинющего роста. И ребята верили, что он видит что-то такое, чего они еще пока не могут разглядеть.

«Старший вожатый должен быть длинным, – шутил Феликс. – Ведь он один на всю школу. А вас сколько?.. Так вот, чтобы вам легче было разыскать его в школьном коридоре, или в лагере, или в лесу, он должен возвышаться каланчой. Как я, например...»

И еще Феликс часто напоминал ребятам, что они живут в новом городе, где главный проспект назывался Новой улицей, самая большая площадь – Новой площадью, а конечная остановка автобуса – остановкой «Новые дома».

Ребята были, конечно, рады, что все в их городе будет по-новому, а все-таки им было немного жаль, что Феликс со своими дружинниками не бродит по лабиринтам запутанных преступлений и не вылавливает каждый день хотя бы по одному опасному преступнику.

«Разные нечестные люди у нас, конечно, еще имеются, – словно утешая ребят, сообщил Феликс, – хулиганы тоже, нарушители порядка, которые жить мешают...»

Это воодушевило всех: значит, дружинники не сидят без дела и им, может быть, даже нужна боевая пионерская помощь!

Но старший вожатый сказал, что и в школе немало дел. В помощь Феликсу школьный совет дружины создал лишь небольшой отряд из самых надежных ребят, командиром которого выбрали Олю Воронец.

А уж она, конечно, назвала его не как-нибудь, а пионерским «Отрядом Справедливых». Попасть туда мечтал каждый, и лишь Колька Свистун делал вид, что вообще не слыхал о таком отряде.

Давно, еще в детстве, Феликс жил на юге, в Крыму, по соседству со знаменитым пионерским лагерем Артек. Он часто рассказывал ребятам о море, хотя чистая уральская река была, по его мнению, ничуть не хуже; о крымских горах, хотя Уральский хребет был, как ему казалось, даже красивее; и еще о заветном артековском дубе, что рос на Медведь-горе... Прощаясь с лагерем, пионеры-артековцы опускают в дупло этого старого дуба письма, адресованные тем, кто приедет в лагерь вслед за ними.

– И у нас ведь тоже есть старый дуб, на краю поляны, недалеко отсюда, – сказал как-то на совете лагеря Феликс. – Дупло в нем не хуже артековского. И пусто, мокнет без дела под дождем такой отличнейший почтовый ящик!

Это сообщение взбудоражило весь совет:

– И как же мы не догадались? Давайте тоже писать письма! Заполним ими все дупло!.. А сверху дощечкой, словно дверкой, его прикроем до будущего лета, чтобы снег и дожди не испортили наших писем!

– И кому же мы будем писать? – с улыбкой осведомился Феликс.

– Как и артековцы... Тем, кто после нас приедет!

– Значит, самим себе, что ли? Сами с собой будем переписываться? Ведь в Артек-то каждую смену новые ребята приезжают, а сюда почти все вы еще года два или три подряд будете навещать. Пока не выйдете из пионерского возраста.

Лева Звонцов сказал, что было бы хорошо превратить дупло в ящик для заметок радио-корреспондентов.

– А наверху, меж ветвей, репродуктор повесим, – предложил Лева. – И будет очень поэтично: вниз, в дупло, заметку опустят, а она через некоторое время сверху моим голосом заговорит. То есть я, как диктор, читать ее буду... Настоящая лесная сказка!

С Левого не согласились. Но других предложений не последовало, и тогда Феликс сказал:

– Я, кажется, придумал, чем мы с вами будем в последние летние дни загружать свой почтовый ящик.

– Чем?

– Поручениями на год, до будущего лета...

– Какими поручениями?

– Вот, например, Леве Звонцову можно поручить провести за зиму по школьному радио три дискуссии – и ни одной из них на тему: «Может ли мальчик дружить с девочкой?» Потому что этот вопрос мы с вами, кажется, уже выяснили до конца. Ну, а будущим летом, как только приедем в лагерь, снова соберемся возле старого дуба, откроем свой лесной почтовый ящик, вспомним, что кому поручили, и проверим, кто и как выполнил наши задания. Это будет интересно, вот уви-идите!

...В самый последний лагерный день ребята собрались возле старого дуба. Потрескивал костер, словно кто-то тихонько надламывал сухие поленья и сучья. Искры сверкающими огненными бабочками взлетали и исчезали, так и не добравшись до широкого узорчатого шатра, образованного могучими ветвями дуба, – шатра, на котором, казалось, были вытканы звезды, просвечивавшие сквозь листву.

Вперед вышла председатель совета лагеря Люба Янкевич – длинноногая и нескладная с виду девочка, которая всегда казалась выросшей из своих платьев, стеснялась этого и прятала смущение за нарочитой серьезностью. Она объявила:

– Мы тут, на совете, подумали и решили ничего вам не подсказывать... Пусть каждый сам даст конкретное задание своему товарищу на целый год, до будущего лета. Мы уже заготовили чистые листки – будем записывать... И опускать в дупло. Кто просит слова?

Никто слова не попросил, потому что никто еще не придумал конкретного задания для своего товарища. Внезапно подувший ветерок, словно желая поторопить ребят, подхватил несколько чистых листков и покружил их над костром. Он раздражил невысокие огненные языки, которые заметались из стороны в сторону, словно стали гоняться за листками.

Первым выскочил Лева Звонцов.

– Я предлагаю дать наше почетное задание Феликсу! Поскольку он... – начал разглагольствовать Лева.

– Подожди, – остановил его старший вожатый. – Почему «почетное»? И зачем начинать с меня? Ведь я остаюсь с вами... А вот одна из вас уезжает. И хоть она вряд ли придет в будущем году к этому дубу, мы не желаем расставаться с ней и дадим ей свое самое первое задание!

Все стали искать глазами Олю Воронец, но в темноте это было не так уж легко, и, чтобы ребята перестали вертеть головами, Оля поднялась и вышла к костру.

– Вот и хорошо, – продолжал Феликс. – Давайте так и условимся: кому дают поручение, тот выходит вперед. Так вот, Оля... Мы не собираемся с тобой насовсем прощаться и хотим все знать о тебе. Я предлагаю поручить Оле Воронец переписываться с кем-нибудь... Чтобы он потом пересказывал Олины письма всей дружине.

– Почему «он»? А может быть, это будет «она»? – ревниво подскочила на своем месте лучшая Олина подруга Аня Черемисина, прозванная за свои рыжие волосы и за свою непоседливость Белкой.

– Нет, я хочу, чтобы это как раз был «он», а не «она», – с неожиданной настойчивостью повторил Феликс: обычно старший вожатый не навязывал ребятам своих предложений. – Именно «он»! Коля Незлобин...

Сухие поленья и сучья в костре стали вдруг надламываться гораздо громче: весь лагерь изумленно затих.

– Да он же молчаливый, как сыч! – крикнул кто-то.

– А вот, может, в письмах и разговорится, – возразил Феликс.

– Он только с птицами разговаривать умеет...

Колька сидел далеко от костра. Сидел и молчал, потому что не верил ушам своим. И, словно для того, чтобы он им поверил, в одно его ухо вдруг пополз противный, захлебывающийся слюной шепот:

– Эх ты, тютя!.. Над тобой издеваются, а ты молчишь. Она же тебя перед всеми по гроб жизни опозорила, а ты ей теперь будешь писульки посылать: «Люблю! Целую! Жду ответа, как соловей лета!..»

Нет, не один Колька в лагере был зол на Олю Воронец – ее, оказывается, еще не любил и этот вот наглый паренек Рудик Горлов, хотя вслух об этом говорить боялся. Зато сейчас он прямо втиснулся в Колькино ухо, как всегда, ужасно при этом плевался, так что Кольке стало не по себе и он отодвинулся в сторону.

Минуту назад Колька собирался с силами, чтобы вскочить с места и крикнуть: «Никогда ей не напишу! Ни одной строчки!», но он не мог слушаться шепелявых подсказок Рудика, он ни в чем, решительно ни в чем не хотел быть с ним заодно – и не вскочил со своего места. И неожиданно для самого себя промолчал...

А Оля, не скрывая своего удивления, сказала:

– Пожалуйста... Если мне дадут такое странное задание, я выполню.

– Вот и дадим! – еще раз подтвердил Феликс. – Возьмем сейчас чистый листок и запишем на нем, что вы должны посылать друг другу письма не реже трех раз в месяц. А в будущем году соберемся все вместе здесь, возле старого дуба, и проверим!..

Феликс действительно взял чистый листок.

И написал на нем все, о чем говорил. И опустил этот листок в дупло старого дуба.

Клетка без птицы

Через три года после смерти мамы Колькин отец женился.

В дом пришла Елена Станиславовна, работавшая с отцом в проектной конторе. Она пришла не одна: с нею вместе явилась и ее дочка Неля.

Неля была на год моложе Кольки, но в доме она сразу стала старше, как бы главнее, потому что училась в музыкальной школе. В большой комнате, на самом видном месте, было установлено черное блестящее пианино, и оно сразу как бы заполнило собой всю квартиру.

Перед тем как переехать к ним в дом, Елена Станиславовна спросила у Кольки, не возражает ли он против этого. Колька не возражал... Потом как-то она долго беседовала с ним и назвала эту беседу «очень важной для всей их дальнейшей совместной жизни».

Елена Станиславовна сказала, что Колька со временем, конечно, должен будет называть ее мамой, Нелю – сестрой; Неля же, тоже со временем, должна будет называть Колькиного отца папой, а все вчетвером они непременно должны будут стать друзьями.

Она добавила также, что Колька и Неля должны быть во всем равны.

Неля, не «со временем», а прямо-таки с первого дня стала говорить Колькиному отцу «папа», и он несколько дней вздрагивал от неожиданности, когда она его так называла.

– Вот видишь, – сказала Елена Станиславовна Кольке, – Неля хоть и младше, но подала тебе пример.

А Колька не мог... Елена Станиславовна была, наверно, очень хорошей или, как говорил отец, «глубоко порядочной» женщиной, да и Неля ничего плохого Кольке пока не сделала, но друзьями они никак не становились, хоть это, по проекту Елены Станиславовны, обязательно «должно было быть».

Елена Станиславовна зорко следила за тем, чтобы Колька и Неля в одно и то же время утром вставали, а вечером ложились спать, поровну ели за завтраком, за обедом и за ужином (Кольке даже доставалось больше, потому что он, как подчеркивала Елена Станиславовна, «должен стать мужчиной»), но никакого равноправия все равно не получалось: Нелино пианино, ее призвание, ее музыкальное будущее не оставляли в доме даже крохотного местечка для Колькиных увлечений и призваний, которых, впрочем, пока и не было (если, конечно, не считать птиц), но которые, быть может, могли еще появиться...

В доме от Кольки ничего особенного не ждали, были вполне удовлетворены, когда он получал тройки, хотя от Нели строго требовали одних только пятерок.

С приходом Елены Станиславовны отцу как-то сразу стало точно столько лет, сколько было по паспорту, – сорок пять. Он уже не судил волейбольные матчи во дворе (Елена Станиславовна назвала это мальчишеством), не ходил в спортивных рубашках с распахнутым воротом и, хоть Елена Станиславовна чуть ли не каждую неделю водила его к врачам, чувствовал себя очень неважно. «Ты забываешь о своей болезни!» – с укором восклицала Елена Станиславовна.

А мама как раз старалась, чтобы отец о своей болезни никогда не вспоминал...

Да, у новой жены отца характер был совсем другой, чем у мамы. И другой характер стал у всего их дома. Дом их был теперь аккуратным и подтянутым, словно застегнутым на все пуговицы, как строгий темно-синий жакет Елены Станиславовны.

Мамин портрет, которого Колька даже не видел раньше, Елена Станиславовна повесила на самом видном месте, над черным блестящим пианино, и, когда приходили гости, громко всем сообщала:

«Это первая жена моего супруга. Она была прекрасной женщиной. И нелепо погибла от аппендицита. Ее звали Еленой Сергеевной...» Кольке хотелось возразить, хотелось сказать,

что маму звали просто Лелей. Ему почему-то было неприятно, что полное мамино имя совпало с именем Елены Станиславовны. Хотя, наверно, он был несправедлив...

* * *

В тот памятный день, когда Колька вернулся из пионерского лагеря, в центре стола красовался пирог, купленный Еленой Станиславовной в соседнем магазине «Кулинария». Мама когда-то сама пекла пироги к праздничным дням и вообще даже в будни любила повозиться на кухне. Елена Станиславовна предпочитала полуфабрикаты и готовые обеды, которые Колька и Неля по очереди (чтобы во всем было равноправие) таскали в судках из столовой строителей. Елена Станиславовна говорила, что «такая форма ведения домашнего хозяйства – наиболее прогрессивная и современная, если учитывать занятость наших женщин».

Ко дню Колиного возвращения Неля выучила новую музыкальную пьесу – бравурную и торжественную, подобную маршам, какими встречают победителей сражений. А Колька появился на пороге с облупившимся на солнце носом и со старым, тоже облупившимся чемоданчиком.

Неля бросилась к своему круглому вертящемуся стулу без спинки, откинула блестящую крышку пианино – и грянул марш. Но она не сумела доиграть до конца...

– Где моя Черная Спинка? – вскрикнул Колька, заглушая пианино.

Черной Спинкой он называл раненую чайку, которую нашел прошлым летом на реке, возле лагеря, и всю зиму лечил.

– Она... была на кухне, – ответил отец. И двинулся навстречу Кольке с распростертыми объятиями. – Здравствуй!..

Колька увернулся от его рук, бросил свой чемоданчик на тахту и выскочил из комнаты. Все трое – отец, Елена Станиславовна и Неля, – переглянувшись, неуверенно двинулись за ним.

В кухне на окне стояла пустая клетка... Это была не обыкновенная клетка, какую можно купить в зоомагазине, – она была самодельная, очень просторная, так что птица чувствовала себя в ней свободно и не должна была наткаться на деревянные перекладины. Эту клетку Колька построил очень давно, с маминой помощью, и она бы, наверно, вполне подошла даже для ширококрылого горного орла, а не только для скромной чайки. Внутри клетки, в горшочке с землей, рос куст, чтобы птица, если бы она не была речной чайкой, могла присесть на него и вспомнить свой родной лес. Сейчас листики на кусте свернулись в сухие трубочки: их, видно, давно уже никто не поливал.

Дверца клетки, которую вполне можно было бы назвать дверью, была открыта. В пустой банке из-под консервов валялось несколько желтых зерен...

– Вы давали ей рыбу? – тихо спросил Колька.

– Нет... У нас не было времени возиться с рыбой, – ответил отец. – А вот зерна...

Колька боялся задать главный вопрос, оттягивал его.

– А ногу ей перевязывали?

– Да... бинтом.

– Но ведь тут, на кухне, темно и жарко... и пахнет газом. Зачем же вы ее сюда?..

– Ты знаешь, Николай... – Отец в серьезные минуты всегда называл его так – Николаем. – Ты знаешь, что Неля нигде летом не отдыхала, что она много занималась, а птица кричала, хлопала крыльями, чем-то там шуршала. Ну, в общем, мешала ей...

Колька со злостью взглянул на худое и бледное лицо Нели. Она и правда все лето была в городе, потому что захотела заниматься с известным профессором – преподавателем консерватории. Профессор этот приехал на два месяца из Ленинграда в гости к своему сыну, инженеру.

– И что же, Черная Спинка, значит, тебе очень мешала? – все так же тихо, избегая еще главного вопроса, спросил Колька у Нели.

– Да, мешала! – звонко, дребезжащим от надвигавшегося плача голосом ответила девочка.

– Недаром тебя в школе зовут Писклей!

– Еще бы... Ведь я сестра Свистуна!

– А ты мне не сестра... – выпалил Колька.

– Ты видишь, мама? Ты видишь!.. – Голос Нели становился все тоньше, будто внутри у нее нервно, все туже и туже натягивалась незримая глазу струна.

И вот струна лопнула: разрыдавшись, девочка бросилась обратно в комнату.

До сих пор Елена Станиславовна молчала. В глубине души она считала, что должна была более чутко отнестись к Колькиной просьбе, внимательней последить за больной птицей. Она даже готова была вслух признать свою вину, но последняя Колькина фраза мигом изменила все ее намерения.

– Как ты можешь так, Коля? Неля видит в тебе своего брата, она так готовилась к твоему приезду... И эта Черная Спинка действительно мешала ей заниматься!

– Где же она сейчас? – тихо спросил Колька, не слыша ничего, кроме того, что касалось его любимой птицы.

Елена Станиславовна опустила голову.

– Она сдохла, – набравшись мужества, ответил отец.

Колька качнулся... Его поразило и то, что не стало любимой птицы, для которой он привез из лагеря целую банку мальков, и то, что отец сказал о ее смерти вот так прямо и грубо.

– Она умерла... а не сдохла. Умерла из-за вас! – крикнул Колька, еле сдерживая слезы. Он схватил свою огромную клетку и, неловко волоча ее впереди себя, спотыкаясь, побежал во двор.

Холмик во дворе

Лечить больных, раненых и обмороженных птиц Колька начал давно. Мама называла его птичьим доктором, а большую клетку, которую они смастерили вместе, – птичьей лечебницей. Весной Колька всегда выпускал своих выздоровевших пациентов на вольную волю. Птицы нетерпеливо вырывались из клетки, и Кольке от этого даже бывало немного не по себе.

«Неужели они совсем не привыкают ко мне? – спросил он как-то у мамы. – Так торопятся улететь...»

«А может, им не терпится показать тебе, как окрепли их крылья. Может, они хотят убедить тебя, что совсем уже выздоровели и готовы к полету. И в этом-то, может быть, и есть их птичья благодарность?..».

Но не все Колькины пациенты выздоравливали. Как-то зимой он подобрал во дворе замерзавшую на морозе птичку. Что это за птица, он так и не узнал. Колька закутывал ее в вату и теплую байку, ставил компрессы, поил ее сладким горячим чаем. Но птичка никак не согревалась... Кольке казалось, что она даже кашляет и чихает по-своему, еле слышно. Весной, когда Колька открыл дверку клетки, птичка никуда не полетела, а, наоборот, забилась в уголок, прижалась к деревянным планкам. Вскоре она умерла. Колька похоронил птичку во дворе, на газоне, за изгородью, чтобы никто случайно не наступил на маленький холмик, не разрушил его. Вскоре холмик зарос травой и стал казаться маленькой зеленой башенкой, поднявшейся из-под земли.

Сейчас Колька, сидя на скамейке и положив голову на свою огромную самодельную клетку, думал о том, что его любимую Черную Спинку никто, конечно, не похоронил, что ее просто выбросили куда-нибудь в мусоропровод или в урну, стоящую во дворе. «На пианино играет! – со злостью думал он о Неле, вина почему-то во всем ее одну. – Музыку любит! А больную птицу – на кухню: в духоту, в темень... Верно я сказал, что девчонки – предательницы. Все до одной!..»

Словно вызванный этими Колькиными мыслями, сзади вдруг раздался певучий голос:

– Послушай-ка, Свистун...

Колька узнал Олю Воронец и, не повернув головы, продолжал угрюмо глядеть на зеленый холмик за деревянной изгородью. Тогда Оля сама подошла к изгороди, чтобы Колька мог ее увидеть, не меняя своей позы. В руках у нее был карандаш и маленький изящный блокнотик.

– Я вот тут последние дела записываю на дорогу... Адреса и телефоны тоже. Мне номер твоей квартиры нужен: ведь нам с тобой переписываться... придется. В одном доме живем, а квартиры твоей не знаю.

– Сорок третья... – ответил Колька, не отводя глаз от маленького холмика и по-прежнему опершись щекой о пустую клетку.

Оля записала с таким видом, будто ей это было совершенно не нужно, но она просто обязана была записать: задание – ничего не поделаешь!

Она захлопнула свой изящный блокнотик и уже сделала шаг в сторону, но вдруг задержалась и спросила:

– Ты что на газон уставился?

Колька промолчал. Она не уходила.

– Откуда у тебя такая громадная клетка?

– Сам сделал.

– Зачем такую большую?

– Ты на одном месте долго сидеть можешь? – вопросом ответил Колька.

– Нет.

– И птица тоже.

- А где же она у тебя? Выпустил, что ли?
- Нет, умерла...
- И ты из-за этого такой... грустный? Из-за птицы?
- Скажи еще: «Из-за какой-то птицы!..» Все так говорят.
- Нет... зачем же?..

Оля присела на корточки и снизу заглянула Кошке в глаза.

– Ну, чего тебе? – отмахнулся Кошка. И с ужасом почувствовал, что глаза его сами собой наполняются слезами. Он изо всех сил напрягся, но ничего не мог поделать – слезы стояли в глазах.

– Что ты? – дрогнувшим голосом сказала Оля. – Что ты? Из-за птицы?..

Он мог бы объяснить ей, что ему тяжело не только из-за этой опустевшей клетки... А потому, что, приехав из лагеря, он не почувствовал, что вернулся домой, хоть на столе красовался пирог и встретили его торжественным маршем. Он мог бы объяснить, что в прошлом году летом переписал чужие стихи из «Пионерской правды», выдал их за свои и попросил Олю прочитать в родительский день потому, что очень хотел доказать Елене Станиславовне и отцу, что тоже чего-то стоит и чем-то на свете увлекается, кроме своих птиц. Оля, как всегда борясь за справедливость, отыскала тогда эти стихи в газетной подшивке (и как только они запомнились ей!), а потом, подойдя к Кошке, тихо, чтобы никто не слышал, но как-то очень отчетливо произнесла: «Позор! Это же воровство... Другой писал, а ты за свои хочешь выдать!» И разорвала стихи на мелкие клочочки... Всем в лагере она сказала, что стихи были просто плохими. «А обещал, что напишешь хорошие... – добавила она при всех, обратясь к Кошке. – Эх ты, Свистун!..»

В тот родительский день, после концерта, Кошка слышал, как многие папы и мамы спрашивали у своих ребят: «Почему ты не выступал?.. Почему ты не пела?.. Почему ты не участвовал в пьесе?..» А отец и Елена Станиславовна ничего не спросили у Кошки. Они вручили ему большущий пакет с фруктами (такого большого пакета не привезли, кажется, никому) – и все... А разве Кошке нужны были эти фрукты? Он предпочитал кислую лесную костянику и терпкую ягоду рябины, от которой сводило челюсти и которую научили его любить птицы.

Все это он мог бы объяснить Оле Воронец, когда она, сидя на корточках, упрямо заглядывала ему в глаза. Но он ничего ей не рассказал...

- У тебя две пуговицы на рубашке оторвались, – сказала Оля. – Пришей. Или скажи маме.
- У меня нет мамы.
- Нету?.. А эта строгая женщина... в темном костюме?
- Это не мама.
- Прости, пожалуйста...

Оля продолжала рассматривать его так, будто до этого дня ей был известен какой-то совсем другой мальчишка, по прозвищу Кошка Свистун, а того, который сейчас оперся щекой о пустую клетку, она встретила впервые. Кошка боялся, что слезы, которые все еще предательски стояли (он чувствовал это!) у него в глазах, потекут по щекам, Оля увидит их и уже не будет сомневаться в том, что он плачет. Ему очень хотелось, чтобы она поскорее ушла, но он не знал, как прогнать ее. И вдруг он вспомнил, как Оля злилась, когда в лагере кто-нибудь называл ее красивой, она тут же прекращала разговор и, прямо с ненавистью взглянув на своего собеседника, срывалась с места. Кошка вспомнил это и, не поворачивая головы в ее сторону, сказал:

- А правду говорят, что ты красивая...
- Ты это на газоне разглядел?
- Нет, – смутился Кошка. – У тебя... на лице.
- Да?.. Правда? Тебе так кажется?

Оля ничуть не рассердилась, не взглянула на него с ненавистью и не сорвалась со своего места. Кошкины слова были ей, кажется, даже приятны. По крайней мере, она пригладила

волосы и расправила свою нарядную плиссированную юбку, которая синим полушарием расположилась прямо на траве, – Оля продолжала сидеть на корточках.

Что было делать? Неожиданно Кольку выручил Рудик Горлов, появившийся во дворе с фотоаппаратом в руках.

– А-а... Вот я вас и щелкну! – воскликнул он своим неприятным шепелявым голоском. – Интересный получится снимочек: «Последняя встреча перед разлукой!» А когда издадут книжицу, под названием «Переписка Оли и Коли», мы эту фотографию на первую страничку тиснем...

Рудик любил уменьшительные словечки, и оттого его фразы всегда казались приторными и липкими. В четвертом и пятом классах Рудик сидел по два года и поэтому был старше своих одноклассников, а ходил он летом в коротких штанах, которые важно именовал «шортами». Кольке казалось, что в таких именно штанах разгуливали европейские колонизаторы, которых он видел в кино, по своим африканским колониям. На голове у Рудика был маленький берет с хвостиком на макушке, франтовато сдвинутый чуть-чуть набок.

– Беретик идет, – зло прошептала Оля. Так она называла Рудика. И поднялась с травы. – Ну, я пойду...

Рудик тут же подскочил к Кольке:

– Что? Помешал?... Вам ведь только переписочку вести поручили, а на коленки на траву перед тобой становиться этого ей никто еще не поручал!

Колька не обращал на него внимания.

– А ты о деньжатах-то, между прочим, подумал? – не отставал Рудик.

– О каких деньжатах?

– Или ты, может быть, очень богатый? Пионер-миллионер?... Ха-ха-ха! Три раза в месяц письма посылать – это же целых пятнадцать копеек выходит. Полтора рубля, значит, в старом масштабе цен.

Чтобы сумма была с виду повнушительней, Рудик всегда считал «в старом масштабе».

– По арифметике из двоек не вылезашь, а тут, словно счеты, защелкал... – усмехнулся Колька. – Какое тебе дело?

– Ты дурачком-то не будь! А если полтора рубля на десять месяцев помножить, это же пятнадцать рублей выходит! В старом, конечно, масштабе. Что ж, ты из своего карманчика будешь выкладывать? Они давали тебе заданьице, они пускай и платят!

По-прежнему уставившись на зеленый газон за деревянной изгородью, Колька угрюмо осведомился:

– Ты знаешь, как тебя называют?

Рудик наострил уши.

– Беретиком...

– Ну и что?

– А я бы назвал по-другому.

– Как?

– Змееныш ты... вот!

Письма

Коля пишет Оле

Посылаю тебе первое письмо. В этом месяце останется написать еще два.

Коля

Оля пишет Коле

Здравствуй, Коля!

Прежде всего хочу напомнить тебе, что у меня есть имя. Меня зовут Олей, хотя из твоего письма этого узнать невозможно.

И что за письмо такое – полторы корявых строчки?! Адрес на конверте и то длиннее. Мне-то от тебя вообще никаких писем не нужно: не хочешь – и не пиши, пожалуйста. Но раз тебе дали задание, да еще на бумаге, да еще в дуплю эту бумагу опустили – так уж пиши, будь добр, по-настоящему!

Оля

Коля пишет Оле

Оля!

Мне от тебя тоже никаких писем не нужно. Но ребята хотят, чтобы ты рассказала о заполярном городе. В книжках они, что ли, не могут прочитать? Да о нем, об этом городе, в любом учебнике географии написано!

Коля

Оля пишет Коле

Здравствуй, Коля!

Я бы тебе ничего рассказывать не стала (читай в учебнике географии!), но раз ребята просят, я кое-что расскажу.

Знаешь, как называют эти места? Северными воротами страны! Только за обычными воротами бывает улица или переулок, а за этими – море. Здесь я увидела его первый раз...

Раньше я, когда думала о море, всегда представляла себе золотой пляж и отдыхающих. Но тут никто не загорает и пляжа нет, а море холодное и суровое. Тут в море работают: ловят рыбу. Весь порт пропах ею. И солью, и ветром...

И заводы я здесь увидела совсем не такие, как у нас. Наш алюминиевый – это корпуса и трубы. А рыбные заводы плавают и качаются на волнах. Там прямо на палубах рыбу разделявают и солят.

А сколько я видела в порту бочек, ты представить себе не можешь! Если бы все они сразу покатались, то грохот, наверно, был бы слышен у вас в городе. Это, конечно, преувеличение, но, в общем, шум был бы ужасный. Я даже сунулась носом в одну пустую бочку, – она пахнет смолой, свежим деревом. А там, где собралась все бочки вместе, воздух такой, как у нас в «Сосновом бору».

Я все говорю: «У нас на стройке. У нас на алюминиевом заводе... У нас в „Сосновом бору“». Никак не могу отвыкнуть. И скучаю я, Колька, очень сильно. Даже ты отсюда, издалека, выглядишь гораздо симпатичнее. Но скучаю я, конечно, не по тебе, а по всем нашим ребятам. Передай им это. Может быть, и они обо мне вспоминают? Папа говорит, что пора уже привыкать к новому

месту и становиться патриоткой города, в котором мы теперь будем жить. Я понимаю, что пора, но ведь по заказу этого не сделаешь – не привыкнешь и не отвыкнешь...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.